

## ЛОКАЛИЗАЦИЯ ТРИАЛЕКТИКИ

### Сибирская идея, сибирский прием, сибирский текст

А.П. Люсый

Центр гуманитарных исследований  
пространства, Москва

allyus1@gmail.com

Одно из самых распространенных определений места Сибири в России – провинция. Многие сибиряки говорят о Сибири как о колонии, кто – с надеждой на будущее освобождение, кто – просто констатируя факт превращения региона исключительно в ресурсную базу. И уже мало кто вспоминает, что еще недавно Сибирь была передним краем наступления на дикую природу, фронтиром (а сибиряки – передовым отрядом). Как формировались эти образы Сибири и как они меняются теперь? В этой статье прослеживается история «триадического» образа Сибири как провинции/колонии/пограничья. Тем, кто думает о будущем развитии региона, полезно знать: как можно вообразить себе эту огромную территорию? И что означают те или иные способы представлять ее? В чем их мощь? Слабость? Перспектива?

**Ключевые слова:** провинция, колония, фронт, интенциональность места, текстуальная революция.

#### Невнятный горизонт

Все три основных определения Сибири – *провинция*, *колония*, а также *фронт* – ввиду качественного различия обозначаемых ими явлений не представляют собой просто различные «усугубляющиеся» степени общего понятийного ряда (известны также определения провинции *второй* и *третьей* степени). Это разные сложноподчиненные способы представлять себе «место», регион. Как пишет один из ведущих сибирских филологов Елена Эртнер в своем исследовании русской литературы конца XIX–XX века: «край» (Мамин), «степь» (Федоров), «город» (Боборыкин) и т. д. «овеществляет», детерминирует, экстерниоризирует

«человеческое», а «человеческое» интериоризируется провинцией (оно вбирает в себя «человеческое», персонифицируется). Эти бинарные проекции в известной степени определяют своеобразные типы феноменологизации места. При этом противоположный «способ» интенциональности места может быть использован тем или другим направлением, но скорее как художественный прием<sup>1</sup>. Эти наблюдения можно соотнести с конфигурацией «градов» французского социолога Лорана Тевено, в зависимости от постулируемых правил согласия, которые обеспечивают достижение

<sup>1</sup> Эртнер Е.Н. Феноменология провинции в русской прозе конца XIX–XX века. – Тюмень, 2005. – С. 200.

того или иного блага в том или ином граде: Блаженный Августин (град вдохновения и благодати), Жак Боссюэ (патриархальный град), Жан-Жак Руссо (гражданский град), Томас Гоббс (град репутации), Адам Смит (рыночный град), Анри де Сен-Симон (технократический град)<sup>2</sup>.

В целом же сибирская идея не диалектична, а триалектична, обоснованием чему и послужат данные заметки.

Предложенная Фредериком Джексоном Тернером в 1893 г. концепция «фронттира», т. е. «подвижной границы», сыгравшей особую роль в обеспечении американских граждан экономическими свободами и новой моделью демократии, была быстро интегрирована в американскую национальную историографию. В России же сравнительные изучения обоих фронтиров, сибирского и американского, начались недавно. Между тем, как отмечает один из авторов сборника о возможном российском будущем «De futurum» Александр Неклесса, выраженным признаком российского бытия как такового является его пограничность, прочерченная линиями старых и новых трансграничных и межцивилизационных трактов<sup>3</sup>.

Образ Сибири и его ментальные особенности вбирают в себя все эти три понятия-концепта – провинция, колония, фронттир, но взаимосвязи между ними имеют сложный нелинейный характер. Колонизация в России (в том числе сибирская) была «яв-

лением внутреннего быта». Новые территории воспринимались как продолжение самой России. Государственная административная политика была направлена на превращение Сибири во внутреннюю провинцию. В то же время экономическое освоение края имело преимущественно колониальный характер. Тогда как культурное постижение носило черты преимущественно фронттира, движущейся границы – и по отношению к самому сибирскому пространству, и по отношению к внутреннему миру погруженного в эти пространств человека. И каждый из этих концептов имеет свою европейскую составляющую, также весьма не однозначную по своему значению.

Процесс национального семиозиса в России находит сейчас свое выражение в концептуализации локальных текстов культуры. «Вместо более или менее случайного каталога случайных приемов, образующих Рассказ, – оценивает Юлия Кристева предпосылки этого ментального сдвига, – ... Бахтин вводит определенную типологию литературных универсумов, не сводимых друг к другу и расчленяющих линейную историю на блоки, образованные знаковыми практиками». Концепция петербургского текста Владимира Топорова, трактующая локальный текст культуры как последовательное развитие темы с постоянным самоцитированием, обращением к исходному ядру, вызвала подлинную *текстуальную революцию* гуманитарного знания. Вопреки оговоркам самого Топорова насчет эксклюзивности его концепции, подходящей только для особо насыщенного семантически петербургского пространства, последовало триумфальное шествие этой революции, выражающееся в повсеместном учреждении «своих» локальных текстов – Московского, Северного, Пермского, Уральского,

<sup>2</sup> Тевено А. Креативные конфигурации в гуманитарных науках и фигурации социальной общности / пер. с франц. О.В. Ковеневой // Новое литературное обозрение, 2006. – № 77. – С. 289–296.

<sup>3</sup> Неклесса А. Мир индиго. Социокультурная и политическая мобильность в условиях цивилизационного транзита / Александр Неклесса // De futuro, или История будущего // под ред. Д.А. Андреева, В.Б. Прозорова. – М.: Политический класс; АИРО-XXI, 2008. – С. 20–25.

Кавказского, Крымского, Сибирского, Алтайского и др. Заметным центром такой «революции» стал Новосибирск с текстологической школой недавно ушедшей из жизни Нины Елисеевны Медлис. Центры концептуализации собственно Сибирского текста – Томск (Александр Казаркин, Николай Серебренников) и Красноярск (Кирилл Анисимов).

Совместными усилиями установлена семантическая амбивалентность этого текста (с одной стороны – пространство гибели, с другой – невиданных возможностей), сформировавшего оригинальную семиосферу со своей историей, пространственной моделью, этнографической спецификой. Именно в недрах сибирского текста первой половины XIX в. намечалась та диалектика «своего» – взгляда изнутри и «чужого» – взгляда извне, которая определит феномен сибирского областничества и масштаб его философии<sup>4</sup>. Заявленная *полисеманτικότητα* в конечном счете сводится к *диахронии*, диалектике двух точек зрения. Однако сибирский текст – образец не столько диалектики, сколько *триалектики*. Помимо «своего» и «чужого» (российского) практически изначально существовал и «свой/чужой» европейский взгляд, необходимость которого по-разному и с разными целями ощущалась носителями первых двух. Так, Александр Радищев в сибирской ссылке, обдумывая основания по определению естественных границ административных образований Сибири, писал графу Александру Воронцову из Тобольска в 1791 г.: «... К сочинению таковой карты не исправниково искусство нужно, но головы и глаза Палла-

са, Георги, Лепехина, да без очков, и внимания не на одни цветки и травы»<sup>5</sup>.

В начале XIX в. в русской словесности под влиянием западноевропейского романтизма утвердился новый художественный язык. Романтизм подразумевал обращение литературы к экзотическим землям. Русский романтизм начал поиски характерных романтических тем, и одним из первых стал сюжет о покорении Сибири Ермаком. В русском Новом свете был «обнаружен» свой русский Писарро. Николай Карамзин в своей «Истории государства Российского» задал череду уподоблений Сибири «нашему Перу», «нашей Мексике», «русской Бразилии», а ее завоевателей – соответственно «Кортецам и Пизарро»<sup>6</sup>. По мнению А.Д. Агеева, эти уподобления вполне отражали реальное положение дел: «До начала развития капитализма в России Сибирь по способу эксплуатации не была переселенческой колонией (типа Канады, Австралии и Новой Зеландии), а колонией-владением в прямом смысле по типу испанских, азиатских и африканских колоний других держав»<sup>7</sup>.

В этой перспективе Сибирь рассматривалась как экзотическая инонациональная окраина, аналог американских владений европейских держав, и интерес фокусировался преимущественно в области ее этнической пнаковости. Предельно «европейский» на тот момент взгляд из России

<sup>5</sup> Радищев А.Н. Полн. собр. соч.: в 3 т. – М.; Л., 1954. – Т. 3. – С. 357.

<sup>6</sup> Анисимов К.В. Проблемы поэтики литературы Сибири XIX – начала XX века: Особенности становления и развития региональной литературы. – Томск, 2005. – С. 102.

<sup>7</sup> Агеев А.Д. Сибирь и американский Запад: движение фронтиров / А.Д. Агеев; Иркутск. межрегион. ин-т обществ. наук. – М.: Аспект Пресс, 2005. – С. 18.

<sup>4</sup> Янушкевич А.С. Сибирский текст: взгляд извне и изнутри // Сибирь: взгляд извне и изнутри. Духовное измерение пространства. – Иркутск, 2004. – С. 228.

на Сибирь приобрел заведомую ангажированность и «умышленность», примерно такую, как и изобретение Востока в Западной Европе (чему посвящен известный научный бестселлер Эдварда Саида «Ориентализм»). Не сибирские, а московские журналы «Сибирский вестник» и «Московский телеграф», по словам Кирилла Анисимова, «по существу сконструировали Сибирь как литературную реальность».

Сибирь для русского романтизма стала топологическим эквивалентом романтического Кавказа, т. е. одним из эстетических «окон» в Европу. Декабрист Александр Бестужев-Марлинский, оказавшись в сибирской ссылке, использовал ее для последовательной реализации европейского романтического канона, предписывающего изображать «природу первобытную и дикую». Когда реальные благородные изгнанники, остро переживавшие свою принадлежность к соответствующей поэтической традиции, оказались «во глубине сибирских руд», то, по словам Юрия Слезкина, «невинная Природа породила невинных детей, и вскоре сибирский литературный ландшафт оказался населен гордыми туземцами, которые «бесстрашно бродили вокруг шаманских могил», не ставили ничего превыше свободы и наслаждались простыми радостями беззаботного кочевого существования»<sup>8</sup>.

Романтическое перевоплощение дикарей в детей природы было сопряжено с переосмыслением понятий природы и детства. Неиспорченное «детство», в соответствии с философскими взглядами Жана-Жака Руссо и Василия Татищева, стало более привлекательным, так как и наступившая

юность самой России начала изображаться как достоинство. Однако по сравнению со ставшими классическими романтическими «дикарями» – индейцами, албанцами и шотландскими горцами, коренные северные и обитатели Сибири оказались менее привлекательными или примечательными. В байронический век «ужаса и блеска» тайга и тундра все же не могли соперничать с величественными горными вершинами, плодородными долинами и бурными потоками Кавказа. Бестужев-Марлинский, который одним из первых ввел жителей Арктики в высокую литературу (романтическая баллада «Саатыр» и очерки «БСыях» и «Письмо к доктору Эрману»), все же испытал явное облегчение, когда, наконец, новым местом ссылки для него оказался именно Кавказ (где автор вскоре и погиб от руки «черкеса»). «Впрочем, к концу 1840-х годов как сибиряки, так и черкесы – наравне с лордом Байроном, сэром Вальтером Скоттом и бесчисленными инородцами и экзотическими сынами природы – стали лишними в мире русской интеллигенции. В своем возрастающем отчуждении культурная элита Москвы и Петербурга открыла благородного дикаря, которому она могла посвятить себя всю без остатка: русского крестьянина... Большинство писателей и ученых спустились с гор на Великую Русскую равнину»<sup>9</sup>.

В дальнейшем, по мнению Юрия Слезкина, интересным и продуктивным компромиссом между чукчей-ирокезом Владимира Богораза и туземцем-горемыкой Вячеслава Шишкова (по нашей терминологии – художественным триалектическим синтезом) стал нанайский охотник Дерсу Узала Владимира Арсеньева, который был одновременно независимым и верным, прозорливым и

<sup>8</sup> Слезкин Ю. Арктические зеркала: Россия и малые народы Севера. – М.: Новое литературное обозрение, 2008. – С. 95.

<sup>9</sup> Там же. С. 96–97.

бесстрашным, вечным и обреченным. В целом же большинство русских интеллигентов, когда они не отбывали ссылку и не бродили по тундре в поисках неиспорченного русского крестьянина или чукотского охотника, во второй половине XIX века стали жить в мире, который состоял из России и Запада. «Восток» при этом (т. е. даже романтический восток-миф) уходил в забвение. Даже те, кто примерял на себя роль скифов или туранцев (как это уже в 1920-е делали молодые эмигранты – создатели «евразийства»), делал это, чтобы напугать или наказать Запад, а не для того, чтобы произвести благоприятное впечатление на «азиатов».

Итак, «российско-европейский» взгляд «извне» на пространство Сибири, исключая наличие «другой» культуры, способствовал мифологизации образа Сибири в русском культурном сознании по европейским моделям. И этот взгляд на осваиваемое пространство как на «чужое» породил два антиномичных мифа о Сибири: с одной стороны, миф о первозданном рае, обетованной земле, дарующей несметные блага (субъекты этого мифа – как крестьяне, обретшие плодородную землю, так и люди удачи, авантюристы, «ренессансные» русские индивидуалисты), с другой – миф о гибельном пространстве. Субъектами последнего стали каторжане и те, кто не одержал победы при встрече с суровыми природными условиями. Символическими же форпостами освоения пространства стали «крепость-завод» – на Урале, «острог» – в Сибири.

В высокой русской литературе (от Аввакума через декабристов, Пушкина к Некрасову, Достоевскому и Льву Толстому) возникает сложный синтез семантики образа Сибири как места смерти и неконструктивного социального пространства, но в то же время – пространства испытания, инициации, в чем-то и богоданного места вре-

менной смерти ради последующего воскресения. Возникает отношение к России и к Сибири как к разным полюсам одного пространства по линии «центр/периферия».

### Скорее антицентр

Размышляя о будущей европейской миссии России после появления «окна в Европу», выражая необходимость нового, «не европейского» в прежней своей романтической структуре, а «сверхевропейского» взгляда на Сибирь, Федор Достоевский на последних страницах своего «Дневника писателя» так критически оценивал текущую внутреннюю геополитику: «...Вся наша русская Азия, включая и Сибирь, для России все еще как бы существует в виде какого-то привеска, которым как бы вовсе даже и не хочет европейская наша Россия интересоваться». То есть Азия, согласно Достоевскому, продолжает оставаться «не открытой еще нами... Америкой». Англичане или американцы давно бы уже воспользовались возможностью такого «открытия». «Но от окна в Европу отвернуться трудно, тут фатум. А между тем Азия – да ведь это и впрямь может быть наш исход в нашем будущем <...> И если бы совершилось у нас хоть отчасти усвоение этой идеи – о, какой бы корень был тогда оздоровлен! Азия, азиатская наша Россия, – ведь это тоже наш больной корень, который не то что освежить, а совсем воскресить и пересоздать надо! Принцип, новый принцип, новый взгляд на дело – вот что необходимо!»<sup>10</sup>.

Последний геополитический вектор Достоевского – именно выход к Тихому океану может обеспечить стратегически более существенное возвращение в Европу, чем «балтийская лужа». Сибирь и Америка,

<sup>10</sup> Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: в 30 т. – Л. – Т. 27. – С. 32.

Восток и Запад сходятся в качестве общего не «анти-», а *сверхевропейского* ориентира, за которым просматриваются позже озвученные политиками контуры «Европы от Атлантики до Владивостока» – через усвоившую Сибирь Россию.

Как формулирует такой масштаб Александр Неклесса, преодолев еще в XIX веке пределы Евразии, российская государственность вышла на просторы континента, расположенного по ту сторону Великого океана. В какой-то момент наметился контур даже не евразийской и не триконтинентальной, а уникальной трансокеанической державы<sup>11</sup>. Историческая перспектива этой восточной и одновременно «западной» границы империи с мерцающими на «внутренних» берегах образами созданных, но не удержанных океанических плацдармов осталась, однако, туманным, не вполне внятным горизонтом, историко-софски и политически не осмысленным мегапроектом.

### Переворот умов

При этом **в собственно художественных произведениях** ни у Толстого, ни у Достоевского не показан сам путь героев по Сибири. Между *пространствами петербургским и сибирским предполагается качественный разрыв*, не преодолимый реально представляемым способом. В романе Льва Толстого «Воскресенье» Петербург как бы проецируется в сибирскую даль, делая географические вехи на пути партии арестантов – Пермь, Екатеринбург, Томск – чисто номинальными. В новых локусах воспроизводится все то же, сфокусированное в Петербурге, социально-историческое зло, которое передается по оси эмпирической горизонтальной.

<sup>11</sup> Неклесса А. Русский мир. Часть вторая // <http://www.russ.ru/pole/Russkij-mir.-CHast-vtoraya>

Антон Чехов вступил, как отмечает Наталья Разумова, с сибирской художественной традицией в русской литературе в очень неоднозначные отношения, с одной стороны, снимая с окружающей ее Сибири религиозно-мистический ореол, с другой – сохраняя и развивая ассоциирующуюся с ней масштабность проблематики<sup>12</sup>.

Главное, что связывает Чехова с «высокой» традицией сибирской литературы и в то же время отличает от нее, – показ глубокого духовного преображения человека в сибирском пространстве. И это преображение происходит не как *откровение*, а как *открывание*, результат процесса взаимодействия человека с окружающим его миром. В то же время сибирские страницы Чехова стали и актом снижающей в своем экзистенциальном углублении художественной «провинциализации» Сибири, что вызвало неприятие «областников». О сибирских очерках Чехова Николай Ядринцев писал: «Антон Чехов полагает, вероятно, что описания путешествий в том роде, что он делает, представляет собой что-либо новое... Увы! Эта манера целиком заимствована из «Voyages en Calabrie» Александра Дюма с тою только разницею, что итальянские москиты заменены сибирскими клопами»<sup>13</sup>.

Стереотипы романтически-ужасного сибирского текста разрушает сосланный в середине 1880-х годов С.Я. Елпатьевский, удивляющийся тому, что «...через Урал почему-то не перешагнули подлые русские ругательства, похабные слова. И даже недавний обитатель этапа быстро переставал

<sup>12</sup> Разумова Н.Е. Творчество А.П. Чехова в аспекте пространства. – Томск: Издательство ТГУ, 2001. – С. 152.

<sup>13</sup> Серебренников Н.В. Опыт формирования областнической литературы. – Томск: ТГУ, 2004. – С. 23.

употреблять их и переходил к единственному сибирскому ругательству «язвите», «пятнайте»<sup>14</sup>. Предложение другого путешественника А.П. Блюммера, который добирался из Томска до Барнаула с обозом, везшим с приисков золото, приготовить оружие на случай возможного нападения разбойников искренне развеселило сопровождающего:

« – Здесь ведь не Италия, чтобы разбойники были... Там Фрадиаволо я читал... И вы, верно, тоже читали... Это пустяки! Вы не думайте, что здесь Италия!

– Я никогда этого не думал, а полагал только, что здесь Сибирь, куда ссылаются из России все воры и разбойники... »

Это замечание почему-то вызвало самый задушевный смех. После я узнал, что сомнение мое относительно разбойников было очень смешно... »<sup>15,16</sup>.

Отсутствие в Сибири крепостного права и помещиков, относительная немногочисленность дворянства наложили глубокий отпечаток как на внешнее поведение, так и на внутренний мир сибиряка. «Слово “барин”, – писал С.Я. Елпатьевский, – редко звучало в Сибири и прилагалось – не очень почтительно – только к чиновному начальству. Сибиряк всегда был глубоко демократичен и не очень верно-подданный... Потомки вольных смелых людей, уходивших от склоки, связанности, от скудности русской жизни искать долю в жизни в беспредельной Сибири, – сибиряки никогда не чувствовали нежности к русскому правительству и не благо-

говели, не трепетали, как раньше русские пред царской властью»<sup>17,18</sup>.

В то время отражение Сибири в художественной литературе отставало от экономического освоения. Главное, что параллельно с «метафизической» развивалась и свободная от нее линия. Правда, авторская позиция в ней сводится к социально-политическим или хозяйственно-экономическим представлениям, которые не имели собственно сибирских корней, а импортировались из Европейской России по просветительским образцам. Участник проектирования Транссибирской железной дороги Н.Г. Гарин-Михайловский в очерках «Карандашом с природы: по Западной Сибири» тоже показывал Сибирь как перспективное пространство. Однако свой оптимизм он связал не с духовными, а с природными богатствами края, открывающими широкие возможности для экономического освоения. Подобная посюсторонность свойственна и очеркам К.М. Станюковича «В далекие края». К этой линии примыкают и «областники» во главе с Григорием Потаниным.

Смысловое ядро областнической литературной программы – внутренний *фронт*, неприятие колониального положения Сибири хотя бы в культуре. Идея культурного полиморфизма объединяет Потанина с Николаем Данилевским, на которого опирались позднее евразийцы, а концептуально этот подход завершил Освальд Шпенглер, писавший о новом всемирно-историческом культурном типе – русско-сибирском. Николай Ядринцев сообщал Потанину, что в лице Мальтуса он «отыскал нового друга Сибири», так как он доказывает, что Сибирь

<sup>17</sup> Там же.

<sup>18</sup> «Былое», неизданные номера журнала / Сост. Ф.М. Лурье. – Л.: Лениздат, 1991. – Кн. 1. – С. 444.

страдает от своего избытка сырья, и только развитие собственной промышленности повысит ценность труда, позволив Сибири сбросить «мануфактурное иго» Москвы.

Анализ публицистических статей, научных трудов и эпистолярного наследия идеологов сибирского областничества свидетельствует о значительном влиянии на формирование и эволюцию их взглядов европейского культурного наследия – истории западноевропейских колоний, политических и экономических теорий того времени. Ядринцев в своей уверенности в будущем процветании Сибири был увлечен Северо-Американскими Штатами. Именно западные идеи и колониальный опыт в значительной мере стали для областников толчком к осознанию колониального положения Сибири в составе Российской империи. Когда Благовосветлов предложил Шашкову, товарищу Ядринцева по ссылке, «обругать рыжих варваров» (английских колонизаторов), то последний неожиданно вступился за них: «За что ругать? За то, что их колонизаторские таланты создали Америку и Австралию? За то, что Новой Голландии, мысу Доброй Надежды и Канаде дана конституция, за то, что в Индии они строят университет и избороzdили ее железными дорогами?»<sup>19</sup>.

### Сибирское мышление

Сопоставляя культурную освоенность американского и сибирского фронтиров, Александр Агеев пишет: «Наличие литературных и реальных, превратившихся в литературных, героев Даниэля Буна, Дэйви Крокетта, Кита Карсона до чрезвычайной степени оживляло фольклорный и литературный пейзаж американского Запада. С таки-

<sup>19</sup> Неделея. 1872. – № 39–40.

ми людьми на Западе уже нечего и некого бояться. Следует лишь поспешить, чтобы не упустить шанс присоединиться к ним. В сибирской истории, фольклоре и литературе едва ли можно найти хотя бы отдаленные аналоги этим лицам и персонажам. В Сибири есть одно действующее лицо – Ермак; он как бы сделал все за всех. Он покорила Сибирь. Все остальные становятся ненужными. Другие персонажи помешали бы сконцентрироваться на объекте и понять, в каком отношении находится Сибирь к России. Это отношение с самого начала воспринималось и культивировалось как враждебное, неродное. «Покорение Сибири Ермаком» – это даже не «Переход Суворова через Альпы». Это нечто запредельное, непонятное, не совсем желательное, да и неизвестно к чему приводящее. К тому же, гибель Ермака воспринималась не как героическая, а как трагическая и роковая – его погубила дикая сила, застав врасплох. Это само по себе внушало страх по отношению к месту его гибели, то есть к Сибири. Несмотря на многие старания русских поэтов, романтическую сагу о Ермаке создать так и не удалось. Первым русским фильмом был «Боеви» «Стенька Разин и княжна», героем которого стал другой донской казак. Ермак – герой, но образ его – гнетущий, как сама Сибирь. Один из персонажей Короленко в отчаянии восклицает: «Зачем, проклятая страна, нашел тебя Ермак!»<sup>20</sup>.

Итак, во второй половине XIX в. оформлялся альтернативный подход к проблеме освоения (колонизации) Сибири, которую условно можно назвать вполне европейским по своей культурной составляющей (но не из Европы) взглядом. В связи

<sup>20</sup> Агеев А.Д. Сибирь и американский Запад: движение фронтиров / А.Д. Агеев; Иркутск. межрегион. ин-т обществ. наук. – М.: Аспект Пресс, 2005. – С. 123–124.



с этим Потанин доказывал необходимость местной беллетристики: «...Это рычаг, более – это блочная система, которая с малой тратой сил поднимает большие тяжести». Однако практически реализован этот замысел не был – ни изнутри «областничества», ни извне.

### Самоцивилизаторство

Вплоть до начала социалистической индустриализации в «европейской» России преобладал экзистенциальный страх перед Сибирью. Он заставлял тех, кто «приходил в Сибирь», спланиваться в коллективы, подавляя индивидуалистические тенденции. Покорять в высшей степени суровую природу можно было только коллективно. Коммунистическое созидание в Сибири, как и рытье котлована платоновскими героями, было способом преодоления страха. Огни ГЭС и металлургических комбинатов среди дикой природы и в условиях политического бесправия создавали иллюзию защищенности. Наивно-романтический элемент лег в основу советского мифа Сибири.

Владимир Маяковский выразил наступательное отношение к «тайге», которая «попятится», как вражеское войско, «до Байкала». Тем самым он, с одной стороны, обрушивал поэтику Гражданской войны на саму природу, которую надо продолжать громить, с другой же – был продолжателем дела европейского модерна. Исполняемый Маяковским социальный «заказ» Александр Агеев сравнивает с тем, которым руководствовался Уолт Уитмен. Запад был нужен Америке, и Уитмен, вслед за Фенимором Купером, воспекает движение на Запад. Сибирь стала нужна Советскому Союзу, и Маяковский воспекает покорение Сибири. В стране началась индустриализация. Нужен был металл и уголь. Нужной стала Си-

бирь. В этом суть метаморфозы<sup>21</sup>. Однако последующая репродукция подобных лозунгов не приобрела характер действительно мобилизующих символов, оставшихся в большинстве своем «пустыми».

Сибирская литература проделала эволюцию от романа воспитания к реализации метафоры реального или воображаемого возвращения блудного сына (эпопея Георгия Гребенщикова «Чураевы», а также последующая советская «деревенская» проза). Как сопоставляет данные мотивы на обоих фронтах Александр Агеев, «возвращенчество – это свидетельство дезадаптации к среде. Дезадаптация – это синдром чисто реактивных действий. Чисто реактивное действие не является социальным действием. Вероятно, в этом ключ к пониманию того, что в Сибири не была создана новая социальная реальность. Если мы обратимся к Максиму Веберу, то должны сказать, что поведение является социальным только при наличии в нем субъективно подразумеваемого смысла, что социальность (как продукт человеческой деятельности и культурный факт) – это объективность, возникающая из субъективно ориентированных, но осмысленных действий, которые можно обозначить как креативные. Креативное поведение на американском Западе явно доминировало над реактивным».

История «границы» в социокультурном контексте – это трансформация естественной среды в социальную. Георг Купнер, комментируя новейшие воплощения и перевоплощения концепции фронта, констатирует, что мифический герой границы эволюционировал от философовского Дэниела Буна до Луки Скайуолкера из «Звездных войн» практически без серьезных изменений. Трудно сказать, что сыгра-

<sup>21</sup> Там же. С. 140–141.

ло большую роль в формировании американской идентичности (с ее индивидуализмом, демократией и т. д.) – реальный Запад или его образ.

Как пишет Вадим Штепа, в отличие от американского Запада Сибирь «на протяжении четырех веков была не столько передовой линией постоянно расширяющегося государства, сколько ее глубоким тылом, вместилищем материальных и в какой-то мере людских ресурсов, которые обеспечивали жизнеспособность и выживание России «доуральской». В современном же миропорядке на фоне «провинциализации» «коренной» России, ее сдвига в целом в сторону мировой периферии проявляются *погранично-маргинальные* черты Сибири. Это реанимирует «столично-пограничные» настроения, высшим выражением которых становятся дискуссии о необходимости очередного переноса столицы страны как можно восточней, дав тем самым толчок новому цивилизационному прорыву.

Современное развитие Сибири может найти свое выражение в развитии фронтальной европейской составляющей ее культурного имиджа (внутренняя фронтальность как ограничение потребностей в связи с ограниченностью ресурсов). Обратная же этому *дефронтализация* (т. е. отказ от ощущения пограничности, прежде всего экзистенциальной) ведет к провинциализации Сибири, как и России в целом. Фронтал остается важнейшим конструктивным шансом и в европейском, и в азиатском, и в евразийском, и в иных возможных измерениях.

#### Литература

Агеев А.Д. Сибирь и американский Запад: движение фронтиров / А.Д. Агеев; Иркут. межрегион. ин-т обществ. наук. – М.: Аспект Пресс, 2005. – 330 с.

Анисимов К.В. Проблемы поэтики литературы Сибири XIX – начала XX века: Особенности становления и развития региональной литературы. – Томск: Изд. Том. гос. ун-та, 2005. – 300 с.

«Былое», неизданные номера журнала. Кн. 1. – Л., 1991.

Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: в 30 т. – Т. 27.

Кушнер Г. Постоянство «идей границы» в американской мысли // Американский ежегодник. 1993. – С. 137–138.

Неделя. 1872. – № 39–40.

Неклесса А. Мир индиго. Социокультурная и политическая мобильность в условиях цивилизационного транзита / Александр Неклесса // De futuro, или История будущего // под ред. Д.А. Андреева, В.Б. Прозорова. – М.: Политический класс; АИРО-XXI, 2008. – С. 205–254.

Неклесса А. Русский мир. Часть вторая // <http://www.russ.ru/pole/Russkij-mir.-СНаст-вторая>

Радищев А.Н. Полн. собр. соч.: в 3 т. – Т. 3. – М.; Л., 1954.

Разумова Н.Е. Творчество А.П. Чехова в аспекте пространства. – Томск: Изд. Том. гос. ун-та, 2001. – 521 с.

Русские очерки. – М., 1956. – Т. 1–3. – 2374 с.

Серебрянников Н.В. Опыт формирования областнической литературы / под ред. А.П. Казаркина. – Томск: Изд. Том. гос. ун-та, 2004. – 307 с.

Слезкин Ю. Арктические зеркала: Россия и малые народы Севера. – М.: Новое литературное обозрение, 2008. – 512 с.

Тевелю А. Креативные конфигурации в гуманитарных науках и фигурации социальной общности / пер. с франц. О.В. Ковеневой // Новое литературное обозрение, 2006. – № 77. – С. 289–296.

Эртийер Е.Н. Феноменология провинции в русской прозе конца XIX–XX века. – Тюмень, 2005. – 211 с.

Янушкевич А.С. Сибирский текст: взгляд извне и изнутри // Сибирь: взгляд извне и изнутри. Духовное измерение пространства: науч. доклады. – Иркутск, 2004. – С. 227–235.